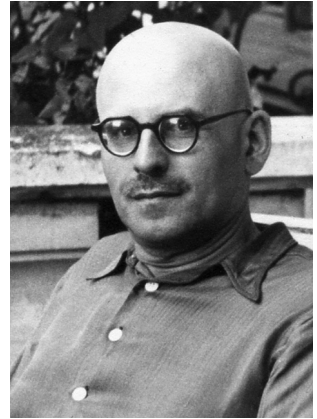




СЕРГЕЙ ТУНИК
юрист, российский офицер

ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕМ ПРОШЛОМ

Вступительная статья

Для публикации в альманахе Русский Миръ я выбрала первую часть воспоминаний моего отца, касающуюся его детства. Формат альманаха не позволяет привести воспоминания полностью, но я надеюсь на их скорую публикацию. Отец писал свои воспоминания большей частью для меня и потому хотел отобразить лишь те события, которые были в «прежней жизни». Все дальнейшее — эмиграция в Европу, потом в США — происходило уже при мне. И я хочу кратко рассказать о том, что же произошло дальше.

В 1940 году Красная армия вошла в Латвию и заняла ее. Мы жили уже в собственном доме, который папа построил с большой любовью. Через год немецкие войска потеснили красных, но ясно было, что это ненадолго. Все пришлось бросить (1941 г.) и на корабле Красного Креста под бомбами кое-как уйти от большевиков. Семья остановилась в немецком городе Эрфурт, а в 1945 году вновь пришлось бежать. Не только мы, но и многие тысячи людей, опять бросив все, длинными колоннами уходили пешком на запад по автостраде. Это наше движение длилось более двух недель. Вскоре мы попали в город Висбаден, в лагерь для перемещенных лиц (ДиПи).

В 1950 году мы выехали из Бремена на военном американском судне «Генерал Мак Рей» в Новый Орлеан. Наше судно получило трещину и пришлось остановиться в Нью-Йорке, чтобы пересесть на другой корабль.

В этом долгом пути по океану папа познакомился с молодым монахом из Ахтырки, отцом Викторином Лябах, он, так же как и мы, вместе с родителями переправлялся на свое новое место служения — в один из приходов Русской Православной Церкви за границей. В результате этих многодневных и длинных бесед папа вновь стал церковным человеком, ибо за время революции у него произошло какое-то отчуждение от прежней правильной жизни.

Из Нового Орлеана мы уехали в Миссисипи, где попали в жесточайшее рабство к одному фермеру. Условия труда и жизни были просто невыносимые. И я не знаю, как сложилась бы наша жизнь, если бы не имевшийся в английской фирме «Шелл», где папа служил ранее, пенсионный фонд, который спас наше положение. Мы пере-

ехали в Мемфис, где родители нашли сносную работу и приемлемые условия проживания.

В 1952 году благодаря участию в нашей судьбе русского художника Бонгарта, я получила стипендию в Джорджтаунском университете, переехала в Вашингтон, куда вскоре переехали и родители. Мой отец, Сергей Александрович Туник, получил достойную возможность реализовать свои способности — его пригласили преподавать русский язык в Джорджтаунском университете (с 1952 года по 1957). Он также вступил в Общество русских юристов за рубежом и с гордостью носил свой российский значок, которых в Вашингтоне было всего два. Я до сих пор храню этот значок.

В 1957 году он оставил университет и специально устроился на простую работу сторожем строящегося здания только для того, чтобы напечатать свои воспоминания.

В 1958 году отец вышел на пенсию. Годы скитаний и лишений брали свое, он нуждался в спокойной жизни и потому родители переехали в маленький городок Ричмонд (штат Мэйн), где приобрели двухэтажный просторный дом. И не только дом. Вокруг образовалась целая колония русских пенсионеров, прибывших туда из разных мест. На улицах городка слышалась русская речь. В квартале, где жили родители, пять домов были заняты русскими эмигрантами. Ближайшая соседка с левой стороны была Великая Княжна Вера Константиновна Романова и дочь одного из генералов, участников русско-японской войны Лидия Павловна Рененкамф. Через два дома жил полковник Рогожин, а далее находился особняк Русского Корпуса и устроенная при нем церковь.

В 1964 году Сергей Александрович скончался от инфаркта и был похоронен на русском участке старого кладбища г. Ричмонда. Перед смертью его напутствовал простой деревенский священник с юга России, который сам прошел все ужасы советского ГУЛАГа. Священник (имя его я, к сожалению, не помню) был арестован вместе с матушкой и маленьким парализованным сыном, которого они вынуждены были взять с собой. В лагере священник все время носил его с собой на спине. Несмотря на это чекисты особо издевались над ним, заставляя с больным ребенком на спине ежедневно чистить уборные... Несомненно, что этот человек был духовно куда выше описанных моим папой в воспоминаниях попа Арката и попа Михаила.

Моя мама Анна Федоровна прожила до 1990 года. Она похоронена рядом с папой на кладбище города Ричмонда.

Воспоминания моего отца охватывают достаточно громадный временной отрезок с рождения его, включая зафиксированные семейные предания, и, как я уже писала, завершаются латвийским периодом жизни. В будущей книге шесть глав, посвященных рассказам о гимназии, университете, участии в I Мировой войне, гражданской войне, вступлении в ряды Добровольческой Армии, возврат в Корочу и родные места, откуда ему вместе с друзьями пришлось с боями прорываться к белым. Этот прорыв, который был совершен несколькими молодыми людьми, уроженцами Корочи и ближайших хуторов, к моему удивлению, позднее усилиями военных историков или простых наивных краеведов, получил наименование белогвардейского мятежа. Погибший во время перестрелки первый красный комендант Корочи, учившийся в гимназии вместе с моим папой и изгнанный за воровство (потом его изгоняли за эти же преступления со всех должностей), объявлен героем и его именем названа улица. Предпринятая мною в 90-е годы поездка на родину отца не принесла утешительных результатов. Все, начиная от построек, в том числе и церквей, а также кладбища, описанные моим папой, давно

уничтожено. Дальнейшие разыскания о судьбах не ушедших в эмиграцию его брата и сестры, заменивших ему родителей, дали мне свидетельства мученической их гибели.

Папа с детства увлекался фотографией. Сначала его постигала неудача, но вскоре он научился делать хорошие снимки. Ими проиллюстрирована вся книга. Часть представлена и в этой публикации. Прорываясь с боями из родного города, прячась от красного террора, скитаясь в изгнании без крыши над головой, отец сохранил как самые дорогие святыни свои фотографии и документы. Среди них и регистрационная расстрельная карточка белого офицера.

Когда мне бывает трудно или просто хочется еще раз возвратиться к прошлым дорогим воспоминаниям, я беру папин альбом и смотрю на запечатленных им родственников, друзей, гимназистов, военных. И в сочетании с папиными воспоминаниями они предстают передо мной как живые.

Галина Сергеевна Туник-Роснянская
лингвист, дипломатический переводчик

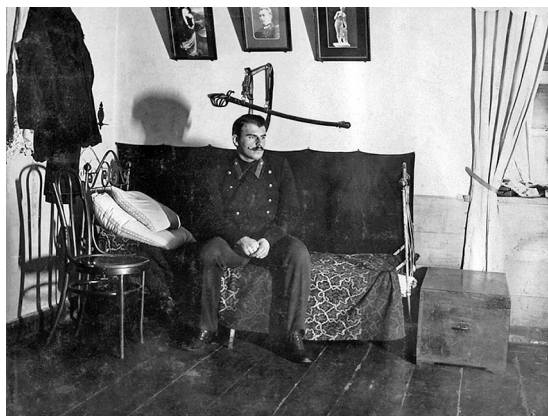
Детские годы

Родился я 8/20 сентября 1892 года в городе Киеве и крещен в так называемой «железной»¹ церкви. Отец — офицер Новомиргородского драгунского полка — умер в чине ротмистра сравнительно молодым, простудившись во время прогулки после брюшного тифа. Произошло это так. По совету врача он должен был ежедневно совершать маленькие прогулки. И вот как-то, возвращаясь, однажды он, открывая калитку, не заметил, что обручальное кольцо — его пальцы за время болезни сильно похудели — упало в снег. Спустя некоторое время он обнаружил пропажу и, как был, в белье, накинув шубу, отправился на поиски кольца. Отец не хотел, чтобы об этом узнала мать, так как по старинной примете потеря кольца — нехороший признак. Через полчаса он нашел кольцо, но сильно замерз. Произошло осложнение, и через два дня он отдал Богу душу. В данном случае, вопреки примете — ведь кольцо нашлось — все окончилось плохо.

Мне в это время шел третий месяц. Жили мы в собственном домике недалеко от вокзала. Самой старшей из всех детей была сестра Валентина, оставшаяся на всю жизнь незамужней. Брат Николай окончил университет и работал земским врачом в местечке Бричаны, в Бессарабии. Брат Александр никогда с нами не расставался и никогда не был женат. Самуил не окончил гимназию и поступил мелким чиновником в Киевскую Контрольную палату. У него была семья, ни его, ни кого-либо из его детей я никогда не видел. Валериан умер рано, не окончив четвертого класса гимназии. Наконец, я — самый младший.

После смерти отца материальное положение нашей семьи оказалось очень плачевным. Братья Николай и Самуил в то время были уже женаты, с нами не жили и ничем нам не помогали. Александр по состоянию здоровья не мог служить.

К счастью, в скором времени мать получила в наследство от своей двоюродной тетки по женской линии небольшое и крайне запущенное имение в Курской губернии. Это было каким-никаким выходом из нашего скверного положения. Дело в том, что в это время правительство предполагало строить в Киеве новый вокзал и другие здания. Целый ряд частных домов был отчужден в принудительном порядке (был такой закон), а деньги за них по разным причинам правительство уплатило много лет спустя.



Гимназист Сергей Туник на хуторе в комнате, где висела сабля Улиха

Итак, мать — Елизавета Кондратьевна Коливода (она, испугавшись безвыходности положения, вышла после смерти отца вторично замуж, а через несколько месяцев вновь овдовела), сестра Валентина, брат Александр и я приехали ненастной осенью (от станции до хутора — около пятидесяти верст) на хутор Языков, что в верховье реки Ивицы, местечко Сын-Боярские Дачи, Яблоновской волости, Корочанского уезда, Курской губернии. Как состоялся переезд, я не «упоминаю» — мне было тогда только два года.

Хутор был основан неким Языковым, привезшим туда, кажется, из Орловской губернии несколько крестьянских семей крепостных. Думаю, это было во второй половине XVIII века. Уже в начале XIX столетия, сразу после изгнания Наполеона из пределов России, он разорился и имение пошло с молотка. Меньшую часть его купил некто Маликов, а большую часть земли и крестьян — Конной артиллерии отставной поручик Самуил Емельянович Улих, происходивший из помещиков Минской губернии.

Самуил Кондратьевич участвовал в Отечественной войне 1812–1814 годов. Доказательством этого служит целый ряд документов и золотое оружие за бой под Лейпцигом. Оружие — сабля сколько себя помню, украшало стенку над моей кроватью.

Улиху, к сожалению, не удалось дослужиться до более высоких чинов только потому, что он был благородным и добрым человеком и считал себя ответственным за пятерых племянниц по фамилии Железняковы. Это были дочери его сестры, в то время они остались круглыми сиротами и обучались всяким наукам в Московском Екатерининском институте благородных девиц. Ради того чтобы заняться устройством их жизни, Улиху и пришлось выйти в отставку. Заняв место управляющего князя Трубецкого в Курской губернии, он взял своих племянниц к себе и стал подыскивать им женихов. Почти в то же время и состоялась покупка хутора Языкова. Одна из этих девиц — Аделаида Ивановна — вышла замуж за отставного офицера Кондратия Федоровича Турчанинова, бывшего в те годы Корочанским уездным казначеем. Моя мать Елизавета Кондратьевна и была ее дочерью. Две другие

племянницы тоже были выданы замуж, а последние две — Александра и Анастасия — остались в старых девах. Александра слыла очень неглупой, любила общество и верховую езду, что тогда в провинции было редким явлением.

Получив в наследство имение, вероятно, еще до смерти Улиха, сестры справлялись с хозяйством лишь благодаря способности и расторопности Александры. Крестьяне недолюбливали ее, но относились с уважением. Приказчик Елисей не раз вспоминал: «Вострая была барышня... бывалыча, кидають с четырех возов снопы на два скирда, а она управлялась их считать. А что насчет какой бряхни — и не думай, по глазам видеть». Александра умерла довольно молодой. Ее сестра Анастасия — полная противоположность сестры и по своей физической, и по умственной слабости — почти совсем отрешилась от всяких хозяйственных забот и целиком положила на приказчика Елисея. Крестьяне то и дело говорили, имея в виду Анастасию Ивановну: «... а ента никудышная, только зря на барынином месте сидить».

Анастасия Ивановна была типичной «Коробочкой». Умерла она лет через десять после своей сестры. Нас уведомили о ее смерти через полицию много месяцев спустя, и, согласно завещанию Анастасии Ивановны, мама получила этот хутор. В юридическом отношении не все было в порядке, что вызвало через несколько лет большие неприятности денежного характера. Дело в том, что Александра Ивановна умерла, не сделав духовного завещания, и Анастасия Ивановна владела ее частью без всякого юридического основания. Умирая, она имела право завещать только свою долю. Где-то в Орловской губернии проживали ее два племянника — Железняковы. Они пропили все свое состояние и были очень рады, когда получили известие о том, что являются вместе с моей матерью сонаследниками имущества, принадлежавшего Александре Ивановне. Естественно, они немедленно примчались к нам на хутор. Я их помню, оба седые и с красными носами. Они потребовали уплаты стоимости причитающейся им части земли. Положение было аховое. Денег нет, а платить нужно. Итак, чтобы избавиться от продажи с торгов, пришлось имение заложить и выплатить им требуемую сумму — что-то около трех тысяч. Это событие значительно ухудшило наше материальное положение, а следовательно, и настроение взрослых.

Интересно, что когда Улиху предстояло взять своих племянниц из Екатерининского института, он решил жениться, ибо «негоже девицам жить в холостом доме». Нашлись свахи, нашлась невеста — какая-то девица из старинного дворянского рода, но без приданого. Улих за приданым не гнался и поехал на смотрины. Намерения жениха были уже известны. Его приняли очень ласково и задержали погостить несколько дней. Невеста ему понравилась.



Обитатели хутора Яблони

Но однажды утром, встав по привычке рано, он пошел осматривать службы и встретил одну девушку, которая держалась за щеку и горько плакала. Оказалось, что это горничная. Невеста, одеваясь к утреннему чаю, за какую-то оплошность побила ее туфлями по лицу. Улих взял свои вещи, запрыг лошадь и, не попрощавшись, уехал. Больше он не сватался.

Умер он примерно в 1884–1885 годах в возрасте девяноста четырех лет. Его похоронили в ограде нашей Знаменской церкви в селе Большое Яблонино².

В нашем имении после смерти Улиха в секретере и шкафах еще оставалось много его вещей. В более сознательном возрасте, то есть двенадцати лет, я принялся разбирать его архив. Там оказалось много различной деловой переписки. Кроме того, он вел регулярную ежедневную запись погодных условий и состояния всех знаков, посевов и посадок в течение сорока с лишним лет! Записывалось все это не на листочках, не в тетрадях, а в двух очень толстых книгах, как видно из надписи, переплетенных самим автором. Записи делались трижды в день. Между ними попадались такие: «Сего генваря второго захворал мерин Вороной; дал кремортартору⁴ — поправился». Попадались записи о свадьбах, смертях его крепостных и прочих семейных событиях. Глядя на титулы (заглавные буквы), я просто не верил, что гусиным пером можно так красиво писать.

Турчаниновы

В екатерининские времена в одну из турецких войн в результате удачного нападения русских было захвачено много пленных и в том числе, как гласит предание, походный гарем какого-то паши. В этом гареме оказался, кроме лиц женского пола, маленький турчонок лет пяти, сын этого паши. Ротный фельдфебель, участвовавший в деле, усыновил свою «добычу». При крещении мальчик был наречен Кондратием; по отчеству Федорович — фельдфебель был Федор, по фамилии — Турчанинов. Когда он подрос, его определили в школу кантонистов⁵, а затем в армию. В каких частях он служил, у меня сведений нет, известно только то, что он вышел в отставку в офицерском чине (вероятно, не очень высоком), стал незадорого скупать имения у прогоревших помещиков. В конце концов разбогател и женился, уже не будучи женихом первой молодости, на племяннице Улиха — Аделаиде. После этого он купил в Короче хороший каменный дом в два этажа и до конца своей жизни состоял в должности корочанского казначея. Жил очень замкнуто, уважал и навещал только Улиха. Был очень горд и строг как к себе, так и к другим. Всех своих домашних держал всегда в большой строгости. Мать рассказывала, что однажды к ней зашли две ее подруги и она стала угощать их чаем с домашним печеньем. И тут, в самый разгар пира, послышались шаги «самого». Моментально все стоявшее на столе (чашки и прочее) было завернуто в скатерть и выброшено через окно в сад. Это было лучше, чем оказаться уличенной в чаепитии в неположные часы. Любил порядок мой дед! В Короче его все боялись.

Семья деда состояла из двух дочерей и четырех сыновей. Одна из дочерей была моя мать, вышедшая пятнадцати с половиной лет от роду за корнета Новомиргородского полка Туника. Полк этот стоял в Короче несколько месяцев, а затем, вскоре после свадьбы моей матери, был отправлен на «усмирение» Кавказа⁶. Венчание происходило в Корочанском соборе и, как мне говорили очевидцы, совершалось очень торжественно. Собор — а он славился своими размерами на несколько губерний — был полон. Вторая дочь, старшая, вышла замуж еще раньше, но я не знаю за кого. Старший сын умер рано и был похоронен на корочанском кладбище, и на старинном памятнике, который высился над могилой, можно еще было прочитать надпись: «Зде покоится Магистр Ветеринарных Наук Кондратий Кондратьевич Турчанинов. Рожден... Помре...». Второй сын — Николай — студент Императорского Харьковского университета, катаясь на коньках на реке Харьков, попал в прорубь. Труп его нашли только весной, похоронили где-то в Харькове. Третий — Самуил — любимец отца, благодаря связям и немалым средствам служил в одном из гвардейских гусарских полков в Петербурге. Вел широкий образ жизни и был большим любителем дуэлей. Наконец за одну, не разрешенную офицерским судом полка дуэль, которая окончилась очень печально для его противника, ему было предложено покинуть гвардию и отправиться в один из армейских полков на Кавказ. Он с этим не согласился и предпочел выйти в отставку с правом носить мундир.

Приблизительно за год до этого события старик Турчанинов, живший в одиночестве в своем большом доме, однажды утром был найден в своей кровати с перерезанным бритвой горлом. Бритва валялась тут же на полу. В доме кроме него жила только кухарка, исполнявшая все домашние работы. Власти решили, что здесь имеет место самоубийство, и на основании действовавшего тогда закона о самоубийцах похоронили его без отпевания за оградой кладбища. Мне рассказывали многие из пожилых корочан, что в решении вопроса, где и как хоронить, сыграло большую роль соборное духовенство. Дело в том, что покойный в церковь ходил, много жертвовал на собор, но так, чтобы пожертвование не попало в карманы духовных лиц, которые были не из бедных. Он вообще своей любовью их не жаловал и в дом свой не пускал, за исключением старого священника тюремной церкви. Они, ясно, в долгу у него не оставались. Для исполнения всяких треб, как молебны на дому и прочего, он приглашал только старого



Вечевой колокол г. Корочи, присланный из Москвы в 1674 году по указанию царя Алексея Михайловича

тюремного батюшку, который исполнял обязанности и кладбищенского священника, был очень беден, ибо от арестантов не заработаешь. А за похороны получали священники приходов, в которых проживали упокойнички. Единственным его доходом была плата за панихиды, совершавшиеся на могилах.

Тогда в городе очень много говорили о том, что Турчанинов не покончил с собой, а был убит братом прислуги, известным пьяницей и вором. Когда же местные власти сочли нужным проверить слухи, то оказалось, что прислуга и брат ее «выбыли из города Корочи в неизвестном направлении». Как выяснилось, все серебро и большая часть одежды покойного исчезли. По «духовной» все имущество было «отписано» сыну Самуилу Кондратьевичу. Прежде чем полиция и суд сообщили ему о происшедшем, он получил из Корочи анонимное письмо, в котором все было пространно описано, вплоть до мельчайших подробностей. Автор письма остался неизвестен. Это произошло в начале зимы, в восьмидесятих годах прошлого (XIX) столетия.

Благодаря связям в столице Самуил Кондратьевич выхлопотал от соответствующего министерства и Синода грозное предписание, адресованное губернатору губернии и соборному духовенству немедленно выкопать труп его отца и похоронить со всеми подобающими почестями.

Как это происходило, мне рассказывали со всеми подробностями корочанские жители. Губернатор командировал по сему случаю в Корочу чиновника особых поручений, который, как говорили, плясал на задних лапках перед Самуилом Кондратьевичем. Можно себе представить, что переживали тогда местные власти, как духовные, так и гражданские...

В жаркий весенний день труп после полугодового пребывания в земле выкопали и в дорогом гробу перевезли в собор! Все духовенство не только соборной, но и других церквей города обязали участвовать в отпевании, а гражданские власти во главе с исправником должны были нести гроб от собора до кладбища — почти километр. Когда процессия шла по улице, то дышать было невозможно, все поливали скипидаром, чтобы отбить дух... Одним словом, Самуил Кондратьевич отомстил!

Необычные похороны многие в Короче долго не могли забыть, все ожидая еще каких-либо последствий. Но более ничего не произошло, кроме дуэли, из-за которой ротмистру гвардии Турчанинову пришлось оставить полк, выйти в отставку и поселиться в Киеве. Но и там у него тоже не все было благополучно.

По приезде в Киев он купил небольшой особняк на одной из лучших и тихих улиц и начал вначале вести жизнь человека, у которого много денег, а еще больше свободного времени. В первые годы жизни в Киеве он пользовался большим успехом в обществе. Еще не старый — под сорок — гвардии полковник (при выходе в отставку был произведен), с капиталом, красивой наружности — говорили, что он был очень похож на Императора Александра II — и, помимо всего этого, со связями в Петербурге! Все это открывало ему двери аристократических салонов Киева, начиная с губернаторского. Киев был еще и городом богатых помещиков Юга и Запада России. Все они

старались иметь шикарные дома в лучшем его районе и на зиму отправляли туда свои семьи.

Как и следовало ожидать, в скором времени в него влюбилась дочь богатейшего воронежского помещика. Со свадьбой не медлили. Дом его был приспособлен для «новой» жизни, тем более что тесть дал «за дочерью» громадное приданое. Первые два-три года все шло хорошо, у них родился сын, который впоследствии окончил юридический факультет в Киеве и был со временем назначен куда-то прокурором.

Предел этому семейному счастью был положен «турецким характером» Турчанинова. Однажды в день его именин тесть подарил ему очень хорошую и дорогую лошадь собственного завода, но сделано это было как-то так, что зять усмотрел в этом некую обиду для себя. Произошел краткий «обмен мнениями». Жена заступилась за отца, и в результате полковник Турчанинов разделил дом и двор пополам. В одной половине — он, а в другой — жена с сыном. На все попытки со стороны жены и тестя восстановить прежние отношения отвечал отказом.

В конце концов жена, потеряв надежду на примирение, уехала с сыном в одно из имений отца. Он же стал меньше интересоваться обществом и только изредка показывался в опере.

Прошло два года, ему исполнилось, кажется, сорок пять. В это время в Киеве внимание общества привлекала к себе только начавшая «выезжать» дочь городского головы. Обратил на нее внимание и дядюшка-полковник. Результатом их знакомства был не совсем обычный роман, окончившийся для обоих трагически. Самуил Кондратьевич сделал предложение. Отец, принимая во внимание его возраст и то, что он еще формально не был разведен, отказал, а дочь отправил в одно из дальних имений для «прихождения в разум». Но это не помогло. Влюбленный достал за немалые деньги для нее «липовый» заграничный паспорт на чужое имя, лишь бы только она могла выехать из России. Когда отец хватился, то обоих и след простыл. Он сделал все возможное, чтобы открыть местопребывание беглецов и вернуть домой несовершеннолетнюю дочь (ей не было еще восемнадцати), но безрезультатно.

Через год Турчанинов вернулся в Киев совершенно седым. Оказалось, что они все время жили где-то около Парижа. Сырою осенью она простудилась и в скором времени умерла от скоротечной чахотки. Только тогда телеграфировал он ее отцу, который немедленно приехал. После похорон в Киев возвратились два убитых горем старика....

Самуил Кондратьевич облачился в халат и больше никогда и никуда не выходил из своего дома. Своему единственному слуге дал строгий приказ никого не пускать в дом, за исключением моего брата Александра, которого очень любил. Брат рассказывал мне, что каждый раз, когда он навещал дядю, то должен был пробовать разные сорта сливянки, которую варил бедный затворник....

Незадолго до нашего переезда на хутор Самуил Кондратьевич умер. Хоронили его в гусарском мундире.

Туник

По семейному преданию, фамилия Туник происходит от греческого эквивалента «Сім победиши» (En touto nika). Эта фраза была вышита на хоругви, которую нес византийский воин в битве против турок в XV веке.

О Туниках, к сожалению, мне известно совсем немного. Дед по отцу был очень богатым помещиком и многолетним предводителем дворянства Кобелякского уезда, Полтавской губернии. Умер он не очень старым, оставив после себя двух сыновей и громадное имение. Старший сын был уже взрослым, а младший — мальчиком около десяти лет. Первый, взяв в свои руки все хозяйство, для начала отправил брата в кадетский корпус, откуда никогда не брал его домой. Видимо, он ему мешал. Когда мальчик, окончив корпус, был произведен в офицеры и поехал домой, то не нашел там ни брата, ни имения: запутавшийся в денежных делах, старший брат застрелился, а имение пошло с молотка. Пришлось ему, не воспользовавшись своим отпуском, отправиться в полк.

Это и был мой отец. Так началась самостоятельная жизнь Максима⁷ Туника. Живым я его не помню, но лицо представляю и теперь довольно ясно — у нас дома был большой его портрет, написанный масляными красками. На портрете отец был изображен в форме офицера драгунского полка. Лицо довольно красивое, овальное, с густыми черными усами. Взгляд немного строгий, почти суровый. Но, по рассказам сестры и брата, он был добрым.

Хутор Языков

Хутор наш состоял из одной улицы, упиравшейся концами в небольшие долины — высохшие старые русла притоков Ивицы. Там было по несколько хат, и назывались эти две части хутора «Заречкой». Населяло хутор в то время приблизительно двести тридцать пять душ.

Мне было лет двенадцать. Я знал по именам всех, включая детей. На одном конце улицы находилась наша усадьба, и называли ее «барский двор». У нас всегда было много собак, которые пугали баб и мальчишек. Один из этих мальчишек, когда у него спрашивали, кого он боится больше всего, всегда отвечал: «Дюжа боюсь Бога, алла (орла) и балшких шабак». За двором, по склону долины, был наш сад, а в другую сторону шли наши поля и лес, именуемый «редкодубец».

В другом конце улицы находился Мальчихин двор. К Маликовой мужики относились даже без внешних признаков уважения и называли ее «бублишница». Они, конечно, имели основания для насмешек. Муж ее — Иван Алексеевич — умер за год до нашего приезда на хутор. Он был дворянином из опустившихся, то есть горьким пьяницей. Женильба его была довольно оригинальной. В двадцати верстах от нашего хутора находилось село Халань, где проживала тогда честная вдовица, занимавшаяся выпечкой бубликов и продажей их по воскресеньям у церковной ограды.

Она имела дочь Анну, девицу на выданье, но с женихами им по каким-то причинам не везло.

Как-то Иван Алексеевич поехал в Яблоново и сильно загулял. Мужики «зли потехи» завезли его в Халань и сбросили у церковной ограды. Здесь-то и обрела его упомянутая честная вдовица; с честью великой водворила в дом свой и опохмеляла, пока он вновь не впал в беспамятство. Так она ублажала его около двух недель, не давая прийти в себя. За это время в местной церкви было сделано оглашение, и в конце концов беспамятного «жениха» обвенчали с дочерью вдовицы Анной. После венчания «молодых» погрузили на телегу и отправили в «евоинный» отчий дом. Когда «молодой» проспался и увидел некую блондинку, хозяйничающую в его доме (старуху, которая «на него варила и стирала», она успела прогнать), то грозно спросил, кто она и что ей здесь надобно. В ответ услышал, что она «барыня Маликова». Тут сам «барин» вышел из себя, схватил кнут, чтобы поучить эту «барыню». Но это ему не удалось — «барыня» бросила в него горшком и побежала во двор. Он за ней. Будучи еще не очень твердым на ногах после такой продолжительной «гулянки», споткнулся и упал. Тут она накинулась на него, оцарапала ногтями все лицо и с криком: «Ой, убивает» бежала к соседям. Озадаченный «молодожен» запряг лошадь и поехал к священнику в Халань, узнать, правда ли, что он обвенчан с этой блондинкой. Вернулся домой вдрызг пьяный. Так началась их «счастливая» семейная жизнь. Через год родилась дочь Елена, а барин на крестинах «опихся и помре». Об этом начале своей семейной жизни рассказывала нам сама Мальчиха. «Я, — говорила она, — ему, с...му с...ну, всю морду почиряпала; свою законную жену не узнаваит!»

Скоро у бублишницы появился работник, рыжий Емельян, который не только пил, но и бил свою барыню — Анну Петровну Маликову.

Дочь Елена, окончив четыре класса Корочанской прогимназии*, вышла замуж за некоего Павла Ефимовича Маляревского, студента-математика. По окончании университета он получил место в какой-то гимназии. Эта молодая чета была в ссоре с Мальчихой, потому что перед свадьбой она торжественно обещала «отписать» на них пятьдесят десятин земли, а после смерти остальное. Но когда венчание свершилось, Мальчиха от своих слов отказалась. Молодые стали «энергично» отстаивать свои права, и в тот момент, когда «молодая» ухватила свою мамашу за остатки косы, вбежал в комнату Емельян и поколотил всех троих.

Иногда Анна Петровна приходила к нам попить чайку и пожаловаться на Емельяна. Курила она самокруточки, а окурки приклеивала где-нибудь под столом. Вместо слова «горшок» говорила «горшек». Для характеристики этой барыни расскажу следующий случай. Если не ошибаюсь, в 1899 году была война с китайцами⁸, и по этому поводу было много разговоров. На всех базарах продавались картины, на которых было изображено, как русские бьют «китай». И вот как-то зимой Анна Петровна пришла к нам и засиделась. Уже смеркалось. Брат, чтобы как-нибудь спровадить ее, подошел к окну и, показывая на видневшиеся в поле стволы подсолнечника, не убранные осенью, сказал: «Анна Петровна! Смотрите, китайцы наступают». Она посмотрела, вскрикнула и, схватив свой платок, умчалась домой.

Такого успеха брат не ожидал. Вот тебе и барыня! Мы рассказали об этом Степаниде, и она, вдоволь насмеявшись, утирая слезы, сказала: «Ну да, она не барыня, а г...». Несколько дней спустя она опять пришла и укоряла брата за то, что он ее так «напужал». Знакомство наше с ней прекратилось, когда мне было лет четырнадцать или пятнадцать. Анна Петровна очень просила Марью, когда она будет стирать у нас белье, всячески расхваливать ее Леночку в разговоре с братом и сестрой. Оказывается, у нее был план женить брата на своей Леночке, хотя он был больше чем в два раза старше ее. «Тогда, — говорила она Марье, — мы будем царями на хуторе». Но прежде чем Марью позвали в очередной раз стирать белье, они из-за чего-то поругались, и Марья, придя к нам, «в сердцах» рассказала нам об этом плане. Все мы страшно хохотали по этому поводу, и когда Пятровнушка явилась с визитом, брат просто прогнал ее. Так всякие сношения между «барским» и «Мальчихиным» дворами были прекращены. Немного «от Гоголя!»...

Приказчик Елисей

Полновластным «хозяином» на хуторе был именно он. При Александре Ивановне Елисей не смел без разрешения войти в комнату и во время разговора с ней должен был держать, как солдат, руки по швам. Теперь же, став «прикашшыком», он, что называется, развернулся вовсю. Будучи от природы мужиком очень неглупым и понимая, что теперь грешно «зевать», вел хозяйство не столько в интересах барыни, сколько в своих. Об этом мне потом проговаривались многие наши мужики, да и нянька Степанида немало рассказала. Кроме всякой «движимости» Елисей успел прикарманить пять десятин в поле и две усадебной земли, рядом с нашим садом. Принимая во внимание «строгости» предыдущей барыни и абсолютную «никчемность» (ограничусь этим выражением) доверительницы, я его не могу строго осуждать. У какого крестьянина не появится чувство полнейшего презрения к такой «барыне Коробочке»?!

С Елисеем мы всегда были большими «друзьями», хотя я очень рано понимал, что он «не шляпа» и с ним в серьезных случаях нужно быть осторожным. Хуторские крестьяне его правильно оценили: «Дед Алисей скрость земь видить. Яво ни абманишь. Ничаво ни скажить, а тольки усмехнется».

Вид имел очень степенный и даже красивый с его длинной бородой, высоким лбом, серыми, как будто добрыми глазами и правильным носом. Говорил мало, больше слушал и всегда поддакивал. Будучи неграмотным, очень здраво судил обо всем и пользовался бесспорным уважением не только крестьян и духовенства, но и самого земского начальника! Семья у него была не маленькая — четыре женатых сына и у каждого из них четверо, а то и больше детей.

После смерти Александры Ивановны Анастасия Ивановна боялась жить одна в большом доме и переехала в маленький, старый, имевший вид большой хаты, прилегавший к улице дом. Это был не дом, а просто паршивенький домишко из двух с половиной комнат, с холодными сенями, отделявшими эти так называемые комнаты от кухни, в которой царила

Степанида. Старый дом — около десяти комнат — мы застали в ужасном виде: крыша протекла, потолки в нескольких комнатах проваливались и так далее. В нем уже давно никто не жил, и никто не беспокоился о его ремонте. Вся уцелевшая мебель была свалена в двух маленьких комнатах. Во дворе та же картина: сараи стояли почти без крыш. Для «выездов» имелся только старенький тарантас с разошедшимися и дребезжащими колесами. Когда на нем ехали в церковь, то нужно было ехать шагом, ибо, по уверению кучера, при малейшей попытке поехать рысью колеса развалятся. С живым инвентарем тоже обстояло не лучше: во дворе остались одна корова и одна старая лошадь, которая из-за своего почтенного возраста не интересовала Елисея, потому и числилась на «барском дворе». Кроме этой животины шныряли по двору около двух десятков «курей», несколько собак и кошек. Печальную картину представлял тогда собою «барский двор». Даже Чичиков им бы не соблазнился и приказал бы Селифану ехать дальше, не заворачивая в него. А мы «завернули»...

Но все это еще полбеды. Гораздо печальнее было то, что из всех нас, приехавших, никто ничего не знал и не умел. Мать была уже слаба и во всю свою жизнь не имела никакого отношения к сельскому хозяйству. Сестра тоже не имела ни опыта, ни сил. Мне шел третий год, и я тоже не умел хозяйничать!

Брат? Сказать по правде, он меньше всех был способен что-либо делать в хозяйстве в то время. Причина — его состояние здоровья. Когда-то, будучи еще шестнадцатилетним гимназистом, купаясь с приятелями (это было в Киеве) и желая не лишиться звания лучшего пловца и ныряльщика, он решил доказать своим друзьям, что для него пустяки — достать дно в самом глубоком месте пруда. Для этого взял в руки большой камень и бросился в воду. Долго его не было видно, и, наконец, он появился на поверхности воды с закрытыми глазами и обгорелым колом, торчащим в окровавленном боку. Оказалось, что, достав до дна, он напоролся на этот кол и почти без сознания всплыл на поверхность воды. Его отправили в больницу, где он пролежал больше полугода. В результате серьезного травматического повреждения печени он почти всегда чувствовал боли и был страшно раздражителен.

Он очень успешно окончил филологический факультет при университете Святого Владимира в Киеве, но, несмотря на это, работать абсолютно не мог. Часто из-за неправильно понятой улыбки он приходил в бешенство и кричал на своего ни в чем не повинного сослуживца, при этом хорошо понимая, что не прав.

Вот такие «помещики-хлеборобы» приехали на хутор Языков! При всем том еще и без копейки в кармане. Вот тут-то и началось жалкое существование. Хорошо, что Елисей часто помогал умными советами. Он теперь был «Елисей Трофимович Несонов» — наш сосед. Зажиточный мужик, а не мальчик-крепостной, купленный Улихом у Маликова. Может быть, потому помогал, что он помнил мать еще маленькой девочкой, видел, что она больна, и вообще относился к ней с уважением. Так продолжалось семь-восемь лет, пока мы не получили плату за киевские постройки (не за участок), около шести тысяч. Без этих денег мы никогда не смогли

бы улучшить свое материальное положение, принимая во внимание абсолютное неумение сделать обычным, нормальным путем хозяйство более доходным.

Когда мне было десять лет, наше положение значительно улучшилось. Получив упомянутые выше деньги, мы начали строить новый дом на месте старого, большого, который был продан за бесценок. Это была наша огромная ошибка: если бы его не продали, а сделали основательный ремонт, то имели бы очень хороший дом в два раза дешевле, чем нам обошлась постройка нового. Был момент, когда особенно нужны были деньги, а мужички уверили брата, что стены старого дома совершенно сгнили. Поверив им, он продал дом. На самом деле это было далеко не так. После этой удачной покупки «мужички» ехидно посмеивались над братом, что портило ему настроение иногда на целую неделю... Но что сделано, то сделано.

Большую часть денег за землю мы получили от правительства только в 1906 году. Причилось нам получить около тринадцати тысяч, но оно правительство сыграло с нами веселую «шуточку». После неудачной японской войны и в особенности после революционного движения в эти годы все ценные бумаги сильно упали, и как раз в это время нам уплатили эти 13.000 рублей не наличными, а какими-то акциями Государственного банка с обязательством обменять их в трехмесячный срок. Курс этих акций был только 70, вместо номинальной стоимости в 100. Таким образом, при реализации этих ценных бумаг было получено не 13.000, а неполных 10.000. Но и то хлеб! С этих пор жить стало лучше.... Матери тогда уже не было в живых. Нас осталось только трое.

Освящение полей

Помню, будто это было вчера, майское теплое утро. Ярко светит солнце. Я выхожу во двор и вижу кое-что необычное. На земле разложены длинные доски, покрытые рушниками. На них расставлены большие красные и зеленые миски, и в каждой из них несколько ложек. Из сада толпами выходят девки с громадными букетами сирени в руках. Я очень интересовался девками, в моем воображении они рисовались какими-то особенными существами. Девки одевались особенно, не так, как мужики, и вели себя как-то по-другому. Я был бы не прочь подойти к ним и завести разговор, но мне было очень стыдно, потому что сам я одевался... «по-бабски». Если уж мальчишки посмеивались над моим костюмом, то девки и подавно будут критиковать, думал я. Тогда меня заставляли носить ботинки, длинные, до колен, чулки (все такое бабское!), широкие штаны до колен с резинками внизу и лиф, к которому эти штаны пристегивались. Полагалась еще и широкополая соломенная шляпа, но это было уже верхом безобразия и я старался ее не носить. Вообще, этот костюм причинял мне ужасные моральные мучения и отравил большую часть моего детства. Итак, к девкам из боязни насмешек я не иду, а, заложив руки за спину, смотрю с горы, на которой находился дом, на то, что делается у колодца. Там все выглядит очень парадно. Все посыпано

золотистым песочком, и на самом видном месте перед колодцем стоит стол, покрытый белой скатертью. На нем вижу нашу хрустальную миску. Это для «свяченной» воды. Ее всегда употребляли для этой цели. Время проходит незаметно. Вот слышится за нашим садом пение «Христос Воскресе». Водосвятие бывало обычно в третье воскресение после Пасхи. Парни и молодые мужики из Яблонова краткой дорогой по нашему полю несут хоругви. Иконы всегда несли девки. Все становятся вокруг колодца, украшенного свежей сиренью. С горы медленно и величественно спускается к колодцу отец Михаил, священник нашей Знаменской церкви. Он в полном облачении, в камилавке и с крестом в руках. Позади него дьякон, псаломщики, много крестьян и баб. Начинается водосвятие. Все мы тоже у колодца — ведь это наш колодезь! От колодца все двигаются на наше поле. Становятся во ржи, которая в это время уже бывала до пояса, и опять батюшка читает молитвы, а псаломщики поют. Батюшке подносят нашу хрустальную вазу, и он обмакивает кисть и кропит кругом освященной водой. Все это очень интересно для меня и было бы еще приятнее, если бы не этот дурацкий «барчуковский» костюм!!! Наконец мы идем домой, а духовенство с крестным ходом направляются на «прикашиково» (Елисея) поле, крестьянское и «Мальчихино».

В это время на нашем дворе кипит работа. В комнате накрывают стол для духовенства, а на дворе готовят все для «усей хутори». Около часу дня начиналось пиршество. В комнатах усаживался за стол весь причт — предвзрительно основательно закусив у Елисея и Мальчихи — и отдавал должное внимание зеленому борщу, жарким, киселям и прочему. Все это поливалось «несравненной» зубровкой и казенной «белой головкой». Велись соответствующие моменты разговоры — о погоде, дожде, засухе, а потом переходили на «весенние» темы. После обеда чай с пасхой обыкновенной и сырной. У нас не было принято название «кулич», так было только у кацапов. Часа в три-четыре наши гости отправлялись полудновать к Ивану Хромому — мужику зажиточному, но несимпатичному.

В это время на нашем дворе становилось шумно. Один из работников носил четверть по кругу. Для девок и баб полагалась «красная». Это та же водка, только подкрашенная кагором. Многие из них для порядку ломались (ведь баба не мужик), а после нескольких «лампадочек» уже не пригубливали, а выпивали до дна, быстрым движением опрокидывая стакан, сильно закинув голову назад. Говорили «покорно вас благодарим» и отходили на свое место к «чашкам». По адресу пьющей «дамы» со стороны мужиков слышались различные комментарии. Повторить оные не решаюсь. К вечеру становилось совсем весело, иногда случались и драки. Степанида брала в руки рогац, выходила во двор и, остановившись на почтительном расстоянии от пирующих, говорила: «Ну, нажрались! Ступайте домой! Все равно водки больше нет. А мне пора идти коров доить». Мужики отвечали на это «любезностями» и когда она видела, что кое-кто из них старается встать, убегала в кухню. Рогац не помогал. Становилось темно. «Гости» постепенно сами расходились, а оставшиеся на месте «трупы» растаскивались родственниками по домам. Это повторялось при всяком угощении — по случаю сенокоса и других работ.

Балканчик

После Елисея самая яркая и достойная внимания личность — это Балканчик. В нем были собраны все положительные и отрицательные черты русского мужика — «серого министра». Вид сей достойный муж имел следующий: рост — ниже среднего, коренастый, выражение лица крайне добродушное. Иногда удивленное. Это зависело от того, что он переживал час тому назад. Он никогда не волновался и все делал очень медленно, особенно если это делалось для «господ». Лицо бронзовое от загара; лохматая борода и спутанные волосы на голове, в которых почти всегда видна была солома, мякина или орипы⁹. Всегда можно было узнать, где он спал последний раз. Зимой и летом носил стеганую, на вате, порыжевшую от времени шапку: немного набекрень и сдвинута на лоб. Это придавало ему довольно странный вид, если смотреть сзади. Когда разговаривал с «господами», всегда во всем с ними соглашался, говоря: «Вы письменные, вам виднее». Но в душе он никогда не был согласен с «господами» и считал их самым большим ничтожеством — никчемными. «Куды они? Ни тебе кобылу запречь не могут, ни косить, а одонка¹⁰ им ни за што не сложить». Это был общий взгляд крестьян на господ. Они и не хотели, чтобы «барина» много знали и умели в сельском хозяйстве.

Я рос в имении и по собственному желанию постепенно обучался всяким работам. Когда мне было семнадцать-восемнадцать лет, я умел делать все, что полагалось уметь каждому мужику; и это им не было по нраву. Не раз я подслушивал такие разговоры обо мне: «Ентот-то растеть и во все нос суеть. Пахать и косить ужо магит. До всего сам доходит. Наукам всяким обучается. Гляди, вырастит и через сколько гадов нам на шею сидить. Яво ужо не обманиш». Почти всегда это говорилось очень раздражительным тоном. Особенно я не нравился брату Елисея — Борису.

Но вернусь к Балканчику. Купался он и менял рубаху три раза в год: на Рождество, Пасху и Троицу. Купанье заключалось в следующем: в каком-нибудь из сараев баба набрасывала на землю немного соломы, приносила ведро горячей и ведро холодной воды, рубаху и портки. Затем происходило самое омовение. Порядок и место купания в зависимости от времени года не менялись. Другие мужики купались чаще, может быть шесть-семь раз в году, но таким же порядком. Иногда при этом употреблялся маленький обмылочек «казанского» мыла. Я не помню случая какой-нибудь кожной болезни у кого-либо из этих купальщиков. По этому поводу Балканчик говорил: «Мы христьяне, нас ништо не береть. А вот господа, они квелье, к им усякая дрянь прикидается. Хай моются».

По его словам, он очень «любил» брата и летом частенько приходил попить чайку. Такое объяснение в любви означало, что он легко мог обмануть брата или выклянчить от него что-нибудь. Во время чаепития, после энного количества стаканов чаю, он вдруг менял тему разговора и, прищурив один глаз, с «нежностью» в голосе говорил: «Слухай, Ляксандра Максимович! У табе там на гароди валяятся дубок один. Он дюжа мешаает пахать. Сколько ты мне даш, чтобы я яво на гулянках свез куды-нибудь у яр?» После этого, высунув кончик языка в левом углу рта, пристально смотрел

на брата в ожидании ответа. Было время, когда брат, веря в его добрые намерения, соглашался, но только протестовал против какой-нибудь платы за этот «труд». Балканчик, как бы раздумывая, медленно говорил: «Ну ладно, только зли тебе уважение сделаю. Связу дубок, только не рассказывай никому, а то они будут смеяться с мене, что я на тебе даром работаю. Просто хочу уважить тебе».

Позже, когда мы начали подсмеиваться над братом, то эти номера не проходили так легко. Он уже не соглашался сразу и говорил, что этот дубок (или какая-либо другая вещь) совсем неплох и стоит денег. Тут Балканчик быстро прятал кончик языка и с возмущением говорил: «Какой там хороший, он же скрость прогнивший!» — «А для чего он тебе?» — спрашивал брат. «Да ни для чаво. У яр. А можа куды и патреблю. Я хотел трохи мельницу починить», — признавался он наконец. «Как же ты будешь чинить мельницу, если дубок совсем гнилой?» — не унимался брат. «А мельница тожа гнилая, туды и не годится хороший дубок. Ежелича ты стал такой скупой, то я дам тебе за яво палтинник», — недовольным голосом говорил Балканчик. Брат запрашивал три рубля и после десятого стакана чаю сходились на одном рубле. В таких случаях Балканчик уходил от нас сердитым. Однажды после такой сделки встретив меня на дворе, сердито спросил: «Это ты его паду-чаишь? Ведь он-то сам ничаво ни панимайт». (Мне тогда было лет тринадцать).

Тип очень забавный, но пальца в рот ему не клади.

Как-то раз, поздней осенью, мы с братом отправились гулять в редко-дубец, и вдруг я заметил валяющиеся кое-где свежерубленные щепки. Это показалось нам подозрительным и после непродолжительных поисков мы обнаружили два пня, засыпанные старательно землей. Очевидно, после порубки прошло уже несколько дней. Часто шли дожди и все следы исчезли. Заявили старосте, хотя это и было совершенно безнадежное дело. Когда брат встретил где-то Дмитрия (это имя Балканчика) и рассказал ему о покраже, то Балканчик пришел в страшное возмущение. «Знаешь, — говорил он, — за это мало повесить. Нужно всю семью этого вора порезать и хату спалить. Кабы я знал, кто украл, сразу пошел бы и дал ему по морде. Верное слово! Таких сволочей нужно на месте убивать». Брат за обедом говорил: «Какой хороший мужик Дмитрий. Никто так не отнесся сочувственно, как он». Прошло года два или три. Как-то за чаем, расчувствовавшись, Балканчик, хитро поглядывая на брата, сказал: «Ляксандра Максимович! А ведь дубки-то я украл у тебя. Мне нужен был новый вал на мельницу. Мы, знаишь, выбрали для того такую ночь, когда была буря, и никто не мог услышать стук топора, с сынишкой-то и срубали их, а потом перевезли у Лошадемовы подсолнухи. Там сделали два вала. Щепки у зем зарыли, валы под мельницей спрятали. Вишь, как нужно делать». Брат не мог больше сердиться на него. Тем дело и кончилось.

Калчо

На другой стороне улицы, против нас был «Калчов» двор. Нужно отметить, что крестьяне никогда не пользовались своими фамилиями и в ходу

у них были только прозвища. Даже собственные имена их стояли на втором месте после прозвищ. Каких только прозвищ не встретишь в деревне! Нередко бывали и такие, что в дамском обществе и не скажешь.

Старый Калчо и жена его Хавронья (оба за восемьдесят) при посторонних никогда не разговаривали, а только ругались. Старым считалось неприличным не только любезничать, но даже спокойно разговаривать друг с другом, если их кто-нибудь мог слышать. Бывало утром, часов в пять, Ефим сидит на крылечке амбара, а Хавронья несет мимо него коробку с «попелом», чтобы высыпать «на бугор». Увидя своего муженька, делает злое лицо и ведьминым тоном произносит: «У, ты, старый кобель, чего сидишь! Иди работать!». А он ей: «Иди, собачья шкура, а то дам». При этом замахивался палкой на нее. На самом деле они жили очень мирно и он ее никогда не «учил». Хавронью Улих когда-то выменял на собаку и выдал замуж за Ефима.

Единственный сын Ефима — Сергей — был женат и имел нескольких взрослых сыновей, из которых каждый, когда был приблизительно лет шестнадцати, служил у нас как лошадиный пастух. Это считалось почетным делом, не то что коров пасти. Сергей был очень честный и малоразговорчивый мужик. Но когда напивался, тогда беда. Приехав «с городу» пьяным, бил горшки и, если сыновья не успевали его связать, выходил на улицу. Тут начиналось, как говорила Степанида, «светоприставленье». Остановившись перед какой-нибудь хатой, покачиваясь, долго смотрел на эту хату,



Вид города Корочи в день ярмарки

как бы вспоминая, кому она принадлежит. Затем разражался рядом страшных ругательств, громовым басом перечисляя при этом все прегрешения мужика — хозяина хаты. Так он медленно подвигался по улице. Все прятались во дворы. Особенно доставалось Секлете за ее «святость». Но когда он доходил до Мальчихи, то тут он достигал апогея. Отчитывал ее по крайней мере час.

Секлета

Секлета жила через две хаты от Калчов, тоже почти против нашего двора. Когда она не «побиралась», то всегда приходила к нам стирать белье с Марьей, чтобы «подзаработить какой рублик». Она имела двух, уже в годах, сыновей. Было время, когда они ее не слушались (она давно уже «ходила вдовой») и собирались делиться. От всех этих семейных неприятностей она отправилась на богомолье в Киев. Перед этим, как полагалось, побиралась несколько месяцев, чтобы собрать «какую копейку» на дорогу. С богомолья она возвратилась совсем другим человеком. Купила хорошую корову; начала поторговывать водочкой, селедками в Петровки и... лечить. Через год опять начала побираться, что продолжалось почти полгода. Ходила по всей деревне, прося прощения. Пришла и к нам. Кланялась земно и, получив от сестры рубль на свечи, подалась на «Русалим»¹¹! Сколько времени продолжалось это богомолье, не помню; но вернулась она уже совсем важной персоной — в церкви стояла впереди всех баб, купила лошадь и еще одну корову и лечила теперь по-новому — «рогальным маслом». Потом пошла к о. Михаилу — благословиться на сбор для большой иконы Знаменской Божией Матери в «стоячем кивоте, выше роста человека». Отец Михаил благословил и исхлопотал ей «бумагу» от станowego на побирание. Побиралась не меньше года с перерывами и, наконец, поставила икону за сто двадцать целковых. От всех почет и слава. А себе новая хата и еще одна лошадь. Сыновья забыли про дележ и стали говорить о ней с почтением великим: «Они, мамаша, зажали...». Только один Калчо кричал: «Ах, ты, Богу копейку, а себе рублик...».

Село Большое Яблоново

Когда-то это был город Яблонов. Но однажды Императрица Екатерина II ехала через эти места в Крым и пожелала, чтобы административный центр был перенесен в Корочу, бывшую тогда местечком. Ей понравились виды Корочи — река того же имени, высокая меловая гора, леса, множество водяных мельниц. На протяжении восьмидесяти верст (а может быть и больше) при царе Алексее Михайловиче был устроен высокий вал по линии Старый Оскол — Короча — Яблоново. На этом валу были устроены сторожевые башни через каждые три версты. В мое время этот вал местами был уже сровнен с землей, но большая часть его была цела. Конечно, он сильно осел и был не выше четырех аршин. Шириною был таков, что могли свободно развехаться две телеги. Когда-то он имел важное стратегическое значение — это была граница между Россией и Крымской или Ногайской татарщиной.

В Яблонове нередко крестьяне находили «кубышки» со старинными серебряными монетами. Изредка попадались и золотые. Вообще в наших местах очень часто говорили о кладах. В то лето, когда я поступал в гимназию, к помещице Алексеевой приехал сын ее крестника, инженера путей сообщения Кондаурова, который занимал в Санкт-Петербурге высокий пост. Ему принадлежал между Яблоновом и Языковым небольшой участок земли, который, по его просьбе, Лидия Григорьевна сдавала крестьянам в аренду, получала деньги и переводила ему. Один из его сыновей, атташе министерства иностранных дел — настоящий «жоржик»¹², наслушавшись разговоров о кладах, приехал, как я уже только что сказал, в гости к Лидии Григорьевне и начал искать клады на своей земле.

Для обследования мест Лидия Григорьевна предоставила в его распоряжение беговые дрожки и кучера. Третью его земли была так называемая «неудобь», то есть место, откуда брала свое начало когда-то река. Это была долина, по сторонам которой был редкий дубовый кустарник — воспоминание о лесе, — а внизу болотистые места. Столичный франт, увидав в самом мокром месте громадный камень — песчаник, величиною с небольшой домик, решил, что под этим камнем обязательно спрятан клад. Ему многие говорили, что этот камень много лет тому назад сполз с горы вниз, но он не обратил внимания на разумные советы и решил этот камень взорвать. Не теряя времени, отправился в Курск за соответствующим сортом пороха. Пока он «едет в Курск», постараюсь описать его наружность. Высокого роста, лицо смазливое. Одет он... впрочем, это нелегкий вопрос, так как переодевался он не меньше пяти раз в день. На «раскопки» он приезжал в белом африканском шлеме с лицом, густо намазанным каким-то душистым вазелином, ибо боялся, что солнечные лучи могут повредить его кожу. Ослепительно белая рубашка с какой-то застежкой вместо галстука, белая жилетка, белые брюки, подпоясанные черной широкой шелковой лентой около пяти метров длиной, белые туфли на толстой подошве и перчатки. Одним словом, англичанин-турист, как их изображали в журнале «Вокруг света». Начиная с Алексеевой и кончая Балканчиком — все ужасно смеялись над ним. Даже Елисей, несмотря на свою постоянную сдержанность, и тот как-то сказал: «Должно его родители чем-нибудь Бога прогневили, что он им такого дурака в сыновья послал».

Однажды он явился в Точило (название этой долины, где находился камень) с респиратором на носу. Это в долину, наполненную ароматом цветущих трав, а в своем гнилом Петербурге не считал нужным надевать его, идиот этакий. Крестьяне, работавшие на этих раскопках (все наши хуторяне), встретили его таким гомерическим хохотом, что он больше не надевал его. Балканчик не утерпел и спросил его: «Ты что, барчук, сопли собираешь в эту самую приладу?» Вряд ли он понял все, что ему говорили мужики. Но почувствовал, что-то не так.

Так вот, он возвратился из Курска с целым ящиком пороху. Алексеева посоветовала ему взять наших, языковских мужиков для этих работ, так как они не были такие пьянчуги, как яблоновские. Для наших «балканчиков» такой дуралей был истинный клад! Работало у него человек двадцать. Я тоже

старался бывать там каждый день раза по два. Распорядок работ по отысканию клада был следующим. Утром, в семь часов, мужики собирались около этого камня на бугре и, улегшись на траве, «закурляли». Одного отсылали на бугор караулить. Часов в десять утра показывались беговые дрожки и началась работа — все с лопатами в руках очищали основание камня от земли. Когда барин подъезжал, его окружали и жаловались на усталость. Кончалось тем, что он обещал вечером дать на водку. Балканчик, чтобы сделать ему приятное, говорил: «Дюжа большой клад есть под этой каменюкой, анадьсь штота гудело под ем». Через час барин уезжал пить кофе и все ложились спать. Когда жар спадал, около пяти вечера, опять та же история. «Анжигнер» приезжал, мужики «работали», утирая пот, и барин милостиво разрешал кончать работу и давал на чай синенькую (пятерку). Водка уже была припасена. Усаживались на камне и пили за здоровье барчука. Причем, сидя у Алексеевой, он искренно удивлялся, как это крестьяне могут есть руками, без вилки, кладя хлеб на «грязный» камень. До чего балда!

Настало время взрывать камень. Два или три мужика долбили дырки для закладывания пороха, а остальные им «помогали». Взрывы производились только в его присутствии, чтобы не растащили содержимого клада. Закладывали пистон, уходили подальше — особенно барин — и после напряженного ожидания происходил взрыв. Несколько камней отлетало в сторону, появлялась трещина. Крупные части камня отодвигали ломами. Так продолжалось около трех недель. При каждом взрыве Балканчик с каким-то собачьим визгом падал на землю и несколько раз кувыркался. Барин подходил к нему и спрашивал, не ушибло ли его камнем. Балканчик отвечал: «Ничаво, я дюжа испужалси, когда садануло». Барин, успокоенный, отходил, а Балканчик делал ему вслед очень неприличный жест. Все «рыготали», и когда барин оглядывался, то Балканчик задумчиво смотрел в поле, почесывая «неуказанные» места. Вечером, когда шабашили, ему иногда удавалось выпросить для себя рублевку за «испуг». Особенно стало интересно, когда камень был почти весь ликвидирован. В нескольких местах под ним оказались родники с чистой холодной водой. После одного из взрывов я нагнулся к одному из вновь показавшихся «ключей» и стал жадно пить холодную воду. Увидев это, Кандауров бросился ко мне и начал тянуть меня за рукав. «Как вы можете пить эту воду? Ведь она не фильтрована!» Я тогда даже не нашелся, что ответить ему, таким дураком он мне показался.

Эти раскопки посещала и Леночка Мальчихина. Однажды она принесла часть поломанного никелевого кошелька с отделениями для гривенников, пятиалтынных и других монет. После одного из взрывов она подбросила его под камень. Видевшие это мужики спустя несколько минут заорали во всю глотку: «Барин, нашли!». Он схватил эту вещь, завернул в носовой платок и увез с собой. Я думаю, что все находившиеся здесь никогда еще так не смеялись в своей жизни, как в этот раз. Алексеева рассказывала, что на следующий же день послал этот обломок в Петербург на экспертизу. В этом и заключался весь клад. Через несколько дней его унесла нелегкая восвояси. А наши мужики еще много лет, выходя из церкви, спрашивали Лидию Григорьевну: «А когда барин Кандаур опять приедет клад копать?»

После всей этой истории Лидия Григорьевна не раз говорила: «Я от всей души жалею Кандаурова-отца!»

Лидия Григорьевна Алексеева

В селе Яблоново самой главной персоной была Лидия Григорьевна Алексеева. У нее было около 600 десятин земли и не меньше ста тысяч наличными в банке. По тогдашним понятиям и по нашим корочанским масштабам это считалось богатством. Жила она в старинном низеньком доме, к которому прилегал флигель. Не было дня, чтобы к ней кто-либо не приезжал в гости. А если и выпадал такой «несчастливый» день, особенно в распутицу, то у Лидии Григорьевны портилось настроение и она посылала работника за каким-нибудь из батюшек и садилась играть с ним в гусарский преферанс. «На безрыбье и батюшка рыба», — говорила она.

Гостей поставляла ей большей частью Короча. То исправник, то казначей, то доктор завернет на обед, да и застрянет на пару деньков. А ей — и подай, Боже! Сама она выезжала очень редко. Только нас она навещала раза три-четыре в год, да и то потому, что по дороге к нам не было ни одного врага. Она их смертельно боялась. Что же касается дальних поездок, то это случалось раз в пять-шесть лет. Она ездила в Орел, где жили сестры Полторацкие — ее старые подруги детства. Эти поездки совпадали с какими-нибудь важными делами: вставляла зубы или переделывала завешание. Изменялись симпатии — менялось и завешание.

В домашней жизни порядок дня, заведенный много лет тому назад, оставался всегда один и тот же. У нее всегда была экономка, скорее, компаньонка. Когда мы приехали из Киева, на этом ампула была Софья Петровна, немка из колонисток. Когда она вышла замуж за фельдшера Матвея Петровича Беликова, ее место заняла молодая симпатичная девушка Пелагея Александровна Ильинская.

Лидия Григорьевна обыкновенно вставала в восемь часов утра и, если это было лето, надевала перчатки и шляпу, которые, по ее словам, верою и правдою служили ей более тридцати лет, и вооружившись садовыми ножницами отправлялась в сад. Срезав несколько сухих веточек сирени или роз, возвращалась в комнаты, и все садились пить чай. Комната, в которой она проводила большую часть дня, была гостиной и столовой — в одном конце столовая, в другом — гостиная. К столу подвигался небольшой столик, на который ставился кипящий самовар. Пелагея Александровна разливала чай, а Лидия Григорьевна серебряными щипцами брала сахар из специальной шкатулки красного дерева и клала каждому в стакан, спрашивая при этом, сколько кусков кто хочет. К чаю подавались — масло, французская булка и какие-нибудь коржики. Чаепитие продолжалось не очень долго, а после него все переходили в «гостиную». Алексеева принималась за свою обычную работу (вышивание гарусом), а гости должны были рассказывать новости. Точно в 11 часов приходила «газета» — ее бывшая экономка София Петровна — доставала из сумки начатый чулок и начинала вязать с молниенос-

ной быстротой, рассказывая сельские новости. Подавали кофе. Выпив одну чашку, «газета» вскакивала, целовала Алексеевой руку и сказав: «Благодару за кофий», исчезала. После кофе перемещались в гостиную и оставались там до обеда, который подавался ровно в два. Если среди гостей был кто-либо из взрослых мужчин, то на столе, стоявшем у стены под зеркалом, сервировалась «закусочка» и водочка. «Опрокинув» и закусив, все рассаживались за столом. На первое всегда был борщ, на второе какое-нибудь жаркое и затем сладкое. Летом малина или клубника со сливками и сахаром.

После обеда желающим предлагалось отдохнуть во флигеле, а сама она размещалась на своем диване и опять вязала и вышивала. Конечно, на Рождество, Пасху или в день ее именин устраивался парадный обед из многих блюд с различными винами. В «гостиной» на столе всегда был шоколад, мармелад и прочее, а на маленьком столике разные квасы. Я очень любил хлебный и лимонный.

В шесть вечера — чай. Летом на галерее, а в другое время — в столовой. Подавались: разных сортов варенье, сладкие пирожки и прочие печення. Зимой после чая садились за преферанс. Хозяйка играла очень хорошо и страшно сердилась на делающих глупые ходы. Если не подбиралась соответствующая компания, то занимались разговором (летом на балконе). В десять подавался легкий ужин — холодное мясо, молоко или еще что-либо в этом духе. Сама Лидия Григорьевна выпивала стакан молока с куском сухой булки. Она страдала печенью и соблюдала диету. Она перенесла, кроме того, девять раз воспаление легких и зимой очень береглась.

После ужина Пелагея Александровна брала свечу и провожала гостей во флигель, где уже были постланы постели и около каждой на столике стоял стакан с водой и свеча. Так кончался день. Завтра опять то же. Приблизительно за семнадцать лет, насколько я помню, не было никаких перемен ни в мебели, ни в хозяйке, ни в расписании дня; только среди гостей появлялись новые лица.

Дом Алексеевой находился почти в центре села, но благодаря размерам усадьбы деревня не «чувствовалась». Расположен он был в глубине большого двора, поросшего травой. За домом и с правой его стороны был большой запущенный сад, часть которого была приведена в порядок трудами Гриши. Влево, на большом расстоянии (около 400 метров), был каретный сарай, за ним конюшни и амбары; а за этими постройками находился большой скотный двор, окруженный разными сараями и хлевами.

В доме было всего шесть комнат, во флигеле, соединенном с домом длинной неотапливаемой галереей, еще четыре комнаты. Ни ванной, ни уборной не было. Последнюю заменяла маленькая кладовка по соседству с кухней. В кухне, на удивление посещавших ее баб, была устроена большая плита. Пол в кухне был вымощен красными кирпичами. Летом в ней было такое количество мух, что нужно было очень осторожно дышать — они лезли в рот. За обедом из всяких соусов и других кушаний часто извлекали трупы мух-неудачниц. Помню, как однажды, сидя за столом, я заметил, что сестра сразу изменилась в лице и перестала есть. Оказалось, она увидела, что сидевший против нее предводитель корочанского дворянства Дмитрий Петрович

Алферов, не глядя на свою ложку с мороженым, сразу отправил в рот двух мух. С ним ничего не случилось, а сестру долго тошнило после этого.

Дом был очень старенький, но хорошо содержавшийся. Спальня Лидии Григорьевны была ужасно маленькая, с аналойчиком в углу и большим количеством икон в массивных серебряных окладах. В других комнатах висело только по одной небольшой иконке. В умывальной комнате меня в детстве очень интересовал большой мраморный умывальник с «замечательным» устройством — придавишь внизу педаль ногой, а наверху вода потечет.... Всегда на этом умывальнике лежало мыло № 4711. Во флигеле, принадлежавшем князю Вадбольскому, было четыре комнаты. В первой стоял большой верстак для столярных работ (князь был большим любителем этого), налево его спальня с этажеркой и книжным шкафом. Над кроватью портрет о. Иоанна Кронштадтского. При жизни князя, говорил Гриша, в этой комнате было иначе. Прямо за первой комнатой — гостиная с большим количеством рододендронов и картиной на стене «Поцелуйный обряд». Эта картина мне ужасно нравилась (не меньше, чем «Похороны кота мышами» в мясной лавке Леонова) и я намеревался купить ее у Алексеевой, когда стану большим. Влево от гостиной — еще одна комната, которая была почти целиком заполнена громадным старинным роялем. Играть на нем можно было, но не рекомендовалось, так как замша на молоточках была объедена мышками. Как дом, так и флигель снаружи были обложены красным кирпичом и крыты соломой.

Очень значительной личностью в доме Лидии Григорьевны, как и при жизни князя Вадбольского, оставался его лакей Гриша, или Григорий Митрофанович. С детских лет он поступил в услужение к князю, и за многие годы, прожитые вместе, они очень привыкли друг к другу. Для князя он был лакеем, советником во всех вопросах, и князь ему полностью доверял. После смерти своего хозяина и друга он ту же роль играл при Алексеевой, но здесь, благодаря тому, что Гриша был страшно медлителен, а она проворна и вспыльчива, между ними часто возникали, как говаривал Гриша, «непорядки».

Наружность Гриши, как мы все отмечали, была «тургеневская». Рост он имел средний, был худощав, лицо цыгански-смуглое, длинные темные усы. Бороду брил каждую неделю по субботам, ибо не был женат. Волосы у него были черные, стриженные «под горшок», а нос длинный, прямо гоголевский. Одевался не по-мужицки, а скорей по-мещански: картуз, выцветшая зеленая поддевка с узким кавказским пояском и сапоги, которые не мазал дегтем, а чистил ваксой. «Некоторые господа не принимают дегтю», — пояснял он.

Гриша отличался религиозностью, но, за редким исключением, терпеть не мог попов. Болезненно любил животных и страшно любил поговорить, был безукоризненно честен и ужасно обидчив.

В Короче он знал всех, и его знали все. И не удивительно. Больше тридцати лет каждую неделю по средам и пятницам ездил в город за почтой и покупками. Опишу один из этих дней. Встал Гриша до четырех часов утра. Умылся, побрился, громко ругая каких-то лодырей, очевидно рабочих, идет в конюшню выводить своего Бриллианта, здорового и преленивого

коня. Вот он тащит его к каретному сараю, укоряя в лени и прочих нехороших чертах характера. Привязав коня к столбу, выкатывает из сарая свою «беду» (таратайку) и начинал медленно носить всякую упряжь. Все это сопровождается непрерывным бурчанием. Все и вся оказываются в чем-нибудь виноватыми. Затем, посмотрев на коня, как бы что-то вспомнив, отправляется на кухню и несет оттуда большущий кусок хлеба, густо посыпанный солью. Конь еще издали начинает тихонько ржать, а Гриша, подходя к нему, просит прощения, говоря: «За этими хлопотами проклятыми не только коня, а и душу свою позабудешь». Наконец, после долгих уговоров и ссор с Бриллиантом, все готово. Вдруг Гриша вспоминает, что нет кнута, и хотя он никогда ни одну лошадь не ударил кнутом, начинаются поиски.... Ругает рабочих, обвиняя их в том, что они нарочно спрятали кнут. Минут через двадцать оказывается, что кнут еще с прошлой поездки лежит под сиденьем на его «беде». Теперь надевает поддевку, кожаную сумку через плечо и около восьми часов медленно выезжает со двора. Видя все это, вставшая уже Алексеева со злостью распахивает окно и кричит ему вслед: «Как тебе не стыдно! Ведь ты обещал выехать не позже шести». Гриша ничего «не слышит» и медленно выкатывается из ворот на улицу. Алексеева еще целых полчаса не может успокоиться и грозит разделаться с ним, когда он вернется. Но к тому времени она забывает свои угрозы, и все опять идет по-хорошему.

Проезжая Яблоново, Гриша многократно останавливается и беседует с бабами. Выехав за село, начинает контролировать содержимое сумки. Там лежат письма для отправки и записки «что купить». На каждой имелись надписи: «У Радченко», «У Парманина» и т.д. Все это заготовлялось еще накануне. Гриша прилично читал и немного писал. Деньги прятались в сапог за голенище, а если было больше десяти рублей, то в гаманок¹³ на шею, под рубашкой. Часа через три Гриша подъезжает к магазину Парманина, привязывает лошадь, передает соответствующую записку «для исполнения» и, обменявшись приветствиями и новостями, отправляется ходить по другим местам. Под конец обязательно заходит на базар. Здесь его все очень любили. Он дает торговкам разного рода советы — медицинского характера, юридического, семейного и прочие. Со всеми бабами здоровается «за ручку» и подолгу с каждой беседует. Здесь он уже не Гриша, а Григорий Митрофанович. В конце концов, усталый и потный, взбирается на свою «беду» и двигается «до дому». Приехав, получает выговор и божится, что этого больше никогда не будет. Следующую среду или пятницу все повторяется....

Другие рабочие его не любили за преданность господам, а он их тоже не жаловал и иначе не называл, как разбойниками, лодырями и ворами. Каждые три-четыре года у него были «взаправдашние ссоры» с Лидией Григорьевной.

Из-за какой-нибудь ерунды у них начинался разговор, который постепенно становился «крупным». Лидия Григорьевна, побледнев, начала кричать, а Гриша придушенным голосом, почти шепотом, растягивая слова, отвечал ей: «Спасибо за вашу милость, барыня; если не угодил, Бог

волен наказать меня, а не вы. Разрешите расчет, завтра ухожу от вас. Пойду в монастырь». На это Лидия Григорьевна резко отвечала: «Хорошо, сейчас получишь свои деньги и можешь убираться, куда хочешь». Через несколько минут Гриша получал все, что ему причиталось и, тяжело вздыхая, уходил. На следующее утро, молча входил в комнату, долго крестился на икону, делал земной поклон и, затем, поклонившись Алексеевой до земли, говорил: «Прощевайте, барыня. Больше не увидимся на этом свете. Буду молить Бога за вас». После этого медленно выходил из комнаты. Я уверен, что она очень хотела остановить его, непонятно, что ее удерживало от этого шага. Настроение было отравлено на несколько дней.

Проходило около полугода. И в одно утро Пелагея Александровна входила в гостиную с улыбкой на лице. Лидия Григорьевна вопросительно смотрела на нее и, услышав слова «Гриша пришел», бросала свое вышиванье и кричала: «Веди его сию же минуту сюда». Входил Гриша, похудевший и загорелый, валился в ноги, говоря: «Простите, барыня, меня за гордость. Нечистый попутал». Лидия Григорьевна поднимала его с пола, целовала в голову, а он целовал ей руки. Оба плакали. Мир восстанавливался, но не навсегда. Через несколько лет повторялось то же самое.

Гриша очень хорошо «разбирался в господах». О барынях, подобных Мальчихе, говорил: «У, сука, хвостом чужие дворы подметает. Таковую поганой метлой нужно гнать со двора». О нас говорил так: «Господа с Языковки, хучь и не дюжа богатые, а всамделишные. Таких уже мало. Почти все повывелись».

Когда я был гимназистом четвертого-пятого класса, мы, встретившись с ним в саду или в каретном сарае, беседовали целыми часами о политике и прочих «высоких материях». Гриша был ярким монархистом. Я пользовался особым его расположением.

На Страстной неделе я всегда приезжал на хутор, и поэтому говеть приходилось в Яблнове. Очень часто говел вместе со мной наш работник Яшка — Степанидин сын. В среду, после обеда, мы отправлялись с ним в Яблново к вечерне. Исповедовались, а потом к Лидии Григорьевне ночевать. Когда все сядились ужинать она с хитрой улыбкой спрашивала, сколько мне лет. «Пятнадцать», — отвечал я. «О, ты еще маленький. Вот кончишь гимназию, тогда после исповеди тебе уже нельзя будет есть. Садись к столу. Только завтра пойдешь в церковь без чаю». Упрашивать меня долго не нужно было.

Когда я ложился спать, приходил ко мне Гриша и грозно заявлял: «Завтра разбуду вас до утрени». Утренья начиналась в пять утра. Наутро он будил меня и говорил: «Ужо к обедне звонют, вставайте. Зараз стаканчик чайку принесу. Я уже давно самоварчик наставил» — «А не грех, Гриша?» — спрашивал я. «Какой там грех! Это все попы удумали. Вот обругать кого, або обмануть — это грех. А еду нам сам Бог определил. Он сам сказал — не то грех, что в рот, а что изо рта». Я с ним не спорил и, попив чаю, отправлялся в церковь.

После причастия опять к Лидии Григорьевне, и так как время было уже около девяти часов, то самовар уютно шумел на столе, наполняя комнату

приятным самоварным запахом. Меня поздравляли, угощали и в двенадцать, после кофе, я ехал домой обедать.

Отец Михаил

В те годы священником в нашей церкви был отец Михаил Андреев — высокий, седой, представительный старик. Семья его состояла из жены и дочери, которые от злости и скупости высохли и казались однолетками. Мужики говорили, что их сам Кощей Бессмертный испугался бы. И, на самом деле, насколько они были худы — настолько же скупы и злы. Отец Михаил нам неоднократно жаловался, что он никому не может материально помочь — взять дешевле за потребу и прочее — его тогда неделями ругают за это. Вообще, у них дома очень редко что-нибудь варили вроде борща. Только картошка и размоченные сухари, собранные в приходе. Если у них были гости, и один из них пил чай вприкуску и случайно оставлял огрызок сахара, то он не выбрасывался, а клался обратно в сахарницу. Все это было вовсе не от бедности, наоборот, у них в казначействе хранилось больше пятидесяти тысяч рублей и немало ходило по рукам, то есть роздано на проценты. Квартира и отопление бесплатные. Кроме всего, около ста тридцати десятин церковной земли, которую он волен был сдавать в аренду или засеивать.

Многие крестьяне занимали деньги «от вясны до Покрова», и проценты были ужасные — не меньше двенадцати месячных!!! Вексель выписывался на имя матушки — по закону священники не имели права принимать векселей. В этом случае законодатели кое-что не предусмотрели.

Когда мы строили дом, то не хватило денег для срочных платежей. Наши деньги лежали в одном из курских банков и пришлось прибегнуть к займу. К Лидии Григорьевне было как-то неудобно обращаться и сестра поехала к о. Михаилу. Он с удовольствием одолжил на месяц под вексель в триста рублей только двести семьдесят, то есть заранее удержав проценты. Это сто двадцать процентов годовых. «Вам по знакомству много не посчитаю», — сказал он. Но, в общем, старик был симпатичный.

Помимо него был еще дьякон — о. Стефан, очень остроумный и неглупый человек, и два псаломщика. Один — «Муха», Василий Иванович, в подрясничке и с косичкой. Читать мог, но писал с большим трудом. Его пение было подобно жужжанию мухи. Ничего нельзя было понять. Другой — «Ильич» — высокого роста, седой, макушка вместо волос была украшена шишкой величиною с кулак. Не берусь утверждать, мог ли он писать, но читать умел. Когда-то у него был бас, но в описываемое мною время с его горлом происходило что-то странное. Чтение было похоже на ряд выстрелов, понять ничего невозможно. Мужики говорили, что он не читает, а бұхает. Оба служили предметом насмешек крестьян.

На престольный праздник у нас обедало, как всегда, все духовенство. Под конец обеда Василий Иванович начинал собирать с тарелок пирожки с рыбой, с яйцами, с вареньем и запихивать за пазуху, приговаривая: «Деткам, деткам...». Даже о. Михаилу при этом становилось не по себе и он строго

говорил ему: «Ну, ты не очень!». Конечно, сестра заступалась за «Мушку» и давала ему еще пирожков, которые моментально исчезли за его под-
рясником, подпоясанным красным домотканым поясом.

Дьякон и дьячки всегда были бедны, ибо церковные доходы делились в лучшем случае следующим образом: если мужик приходил к батюшке «ладить» вопрос о венчании и приносил две вареных курицы и бутылку водки, то батюшка получал одну курицу. Вторая делилась так: половина дьякону, другую половину двум псаломщикам. Водка и деньги дележу не подлежали, то и другое получала матушка. Деньги из кружки делились в той же пропорции. Все, что за разные требы попадало батюшке в «лапку», никакому контролю со стороны причта не подлежало.

Отец Аркадий

Дмитриевская церковь была новая и каменная, отапливалась и сверкала чистотой. Туда ездила Лидия Григорьевна, за исключением периодов — иногда очень продолжительных, — когда она находилась «в контрах» с отцом Аркадием. Поп «Аркат» тоже был богат, но жил ни в чем себе не отказывая. Ходил всегда в шелковых рясах и часто менял дорогих рысаков. Матушка его, Анна Хрисанфовна, была «гладкая и красивая, что твоя кобыла», как говаривали мужики — ценители женской красоты. Лицо у нее было ярко-румяное, круглое, с заплывшими глазками, а носик тонул в щечках. О фигуре ее умалчиваю. Жир перевисал всюду, где только можно себе представить, руки у кистей словно ниточкой перевязаны. В руках она всегда держала платочек для вытирания пота на лице. Кажется, в то время ей еще не было и тридцати пяти лет. В общем, по словам прихожан, «дюжа красивая попадья, только дети не приживаются, а все помирають». Сам Аркат относился к своей матушке с большим уважением и «любовию всяческою», ведь ее дядя был ключарем в Курском Знаменском монастыре, и через него Аркат обдывал всякие делишки. Так, он добился упразднения штата дьякона в своем приходе. «На кой черт он мне нужен. Я и сам прочитаю все, что нужно», — говорил он Лидии Григорьевне на радостях, что не придется больше делиться с дьяконом. Псаломщику удалось на приходе сохраниться, но я его не помню. Поп Аркат в обращении с мужиками и бабами слыл свирепым и грозным. Бывало, что баба, желая отслужить панихиду после обедни, в числе трех полагавшихся пилениц¹⁴ подсовывала одну черствую. Аркадий, обнаружив обман, с ругательством бросал эту пиленицу так, что она катилась по полу церкви, и записывал за ней долг, но не одну, а в наказание две. Черствую — отдавал псаломщику.

Его слабостью были лошади и... пожары. Если где-нибудь в селе появлялся столб дыма, то Аркадий был уже там и сейчас же принимал на себя роль командующего. Голос имел громкий, лексикон богатый...

Деревенские пожары — это не то, что городские. Хаты и сараи, крытые соломой, тесно соприкасались друг с другом. Сараи часто были набиты соломой. Пищи для огня более чем достаточно. Бочки пожарной команды,

как обыкновение, летом рассыхались и воду не держали. Лошади жили впроголодь и часто работали у «начальства» в поле. Когда случался пожар — звонили в набат, хаты горели, и «пожарная команда» в составе насоса и одной бочки приезжала с большим опозданием. Остальная часть «команды» оставалась на дороге с поломанными колесами. В яблоновской пожарной команде было пять кляч, три рассохшихся бочки, один насос (не моторный) и пьяный сторож. Был случай, что «сама пожарная погорела». Еле вытащили из горящего сарая сторожа — маленько выпил и заснул. Все прочее сгорело. Это событие послужило поводом для издевательств над «пожарным делом» в деревнях. Если бы приехало и десять бочек, то все равно без пользы. В Яблонове колодцев мало, вода глубоко, и пока наполнят одну бочку, то за это время сгорят две или три хаты. Мужики философски рассуждали: «Все от ветру; ежели ветер подходящий, то как на одном конце улицы займется, так на другом конце и кончится». В таком случае хат сорок, как и не бывало.

Раза два я был на таких пожарах в Яблонове. Дым, жар, треск огня, крики горящего скота, забытого в сараях; вой и причитания баб: «Ай, родимаи, помогите, Дуньку у хати забыли!», ругань мужиков. И все это покрывается басом отца Аркадия. Стражник — единственный представитель полицейской власти — не вмешивался, ибо был бессилен чем-нибудь помочь. Как-то старшина на одном из пожаров вмешался в дело тушения и его приказание случайно вошли в противоречие с распоряжениями о. Аркадия. Тут поп Аркат вспылал гневом и закричал: «Чего ты лезешь, рыжий мерин!» — дал ему при всем честном народе по морде. Ручка у попа Арката была тяжеленька, и старшина упал. Поднявшись, расстегнув поддевку и показав всем висящий на груди знак волостного старшины, он торжественно произнес: «Глядите, православные, ен мне вдарил. А на мне царский знак!». Аркадий моментально ушел, не сказав ни слова. Законы поп знал и ему сразу стало ясно, что полагается за такую выходку. В этом случае возможно и понижение в сане.

На другой день рано утром он послал работника к старшине с приглашением зайти попить чайку... Ответ был неутешительный: «Скажи попу, что старшина подмазывает повозку и собирается ехать в город подавать на него жалобу».

Дело плохо. Пришлось послать матушку. Старшина не только не пустил ее во двор, но даже натравил собак. Аркадий послал ее вторично, но уже с вопросом: сколько он хочет получить за мир? Ответ — породистую лошадку-двухлетку (любимицу Аркадия) и триста рублей деньгами. Кроме того, расписку от Аркадия, что он-де, мол, за лошадь деньги получил сполна, чтобы после не мог отобрать ее.

Для Аркадия это стало большим ударом, да и перед прихожанами стыдно. Пришлось и деньги уплатить и с лошадкой любимой расстаться. Наконец, все вроде уладилось. Так, по крайней мере, казалось. Но на следующий день старшина поехал в город «за покупками» и при помощи одного частного поверенного подал все-таки жалобу на о. Аркадия. Воображаю, как ругался обманутый о. Аркадий, когда узнал об этом. Скоро его вызвали в Курск и судили. Приговор — два месяца «толочь воду в ступе», то есть

находиться на послушании в монастыре. Отделался пустяками, но стоило это ему немало. Старшина, на его счастье, был прихожанином о. Михаила. И Аркадию не удалось отомстить коварному обидчику.

Лет за шесть до революции в наш Знаменский приход в помощь о. Михаилу дали второго священника. Приход был очень велик, да еще о. Михаилу нужно было как-нибудь выдать замуж свою дочь, вот и нашли кандидата, который по бедности согласился жениться на Машеньке. Молодому батюшке было двадцать шесть, а молодой матушке тридцать восемь, но — приход и деньги! Через год у этого молодого священника, о. Николая, произошло какое-то столкновение с о. Аркадием. Последний, желая его наказать, подбросил в огород шкатулку от церковных денег и обвинил в краже и святотатстве. К несчастью о. Аркадия и на счастье о. Николая нашлись свидетели, которые видели, как о. Аркадий поздно вечером перебрасывал через плетень в огород о. Николая какую-то вещь. Дело получило плохой для о. Аркадия оборот, и он, несмотря на связи, был переведен в другой уезд на очень бедный приход...

И над школой тоже висело грозное имя попа Арката. По штату там имелись заведующий, учитель и две учительницы. Последние больше года никогда не оставались. Преподававший Закон Божий поп выживал учительниц за непочтение к сану, обвиняя их в «революции». На самом деле причина была другая. Он нещадно лупил мальчишек по рожам. И несмотря на то, что на улицах хутора было полно «учеников», классы пустовали. Аркатом бабы детей пугали, а тут к нему в школу иди! «Да ну яго, я ня хочу вучитца», — говорили маленькие галманы¹⁵ (яблоновцев называли галманами). Нежелание детей учиться было на руку мужикам: «Чаво яму там баловатца, хай дома подсобляить». Учительницы, год-другой пытавшиеся приучать детей в школу, опускали руки и уезжали.

Я и сам в раннем детстве страшно боялся Аркадия и когда он приезжал к нам, убегал в сад. Лет двенадцать спустя мы с ним у Алексеевой играли в преферанс, и ничего...

Таковыми были Яблоновские знаменитости.

Примечания

- ¹ «Железная церковь» — церковь Иоанна Златоуста в Киеве на Евбазе (Еврейский базар, хотя официально именовался Галицким). Построена полностью из железных конструкций. Освящена в 1871 году, окончательно разрушена в 30-е годы XX века.
- ² *Большое Яблоново* — в те времена многолюдное село (7200 жителей) с двумя церквями. В XVII веке это был город, возникший при постройке Яблоновского острога для защиты от татарских набегов.
- ³ *Короча* (Курская область) — город на берегу одноименной реки, впадающей в Донец. Основан в 1637 году при Царе Михаиле Феодоровиче несколько южнее той местности, где сходились два татарских пути — Муравский и Изюмский. Короча имела острог с башнями, с ровом и дубовым частоколом и среди других 25 городов-крепостей входила в состав Белгородской черты. В 1674 году в город был прислан из Москвы по указанию царя Алексея Михайловича «вестовой» колокол для подачи сигналов тревоги. С 1779 года город Короча как

центр Корочанского уезда вошел в состав Курского наместничества, а с 1796 — Курской губернии. В 1780 году получил свой герб: «В верхней части щита герб губернского г. Курска, а в нижней части щита — яблоки в серебряном поле для того, что сей город оными производит торг довольно знатно». С XVIII века Короча стала центром земледельческого уезда с переработкой и торговлей продуктами сельского хозяйства и центром среднерусского плодводства, а также местом проведения ярмарок.

По данным переписи населения 1897 года, в городе проживали более 10 тысяч человек. Ныне это небольшой провинциальный городок с четырьмя тысячами населения.

- ⁴ *Кремартатар* — виннокаменная соль калиевой кислоты (винный камень) в очищенном виде (*tartarus depuratus*), имеет довольно широкое применение в медицине. В данном случае, видимо, был использован какой-то рецепт из лечебника Енгалычева.
- ⁵ *Школа кантонистов* — учебное заведение для солдатских сыновей, с рождения числившихся за военным ведомством. Открыты в 1805 году, упразднены в 1856 году с ликвидацией военных поселений.
- ⁶ «*Усмирение*» Кавказа — имеется в виду Кавказская война 1817–1864 гг., в ходе которой к Российской империи были присоединены Чечня, Горный Дагестан и Северо-западный Кавказ.
- ⁷ *Автор мемуаров* имел отчество Александрович, а не Максимович. В связи с переездом из Киева в провинцию документы оказались утерянными и при поступлении в гимназию их пришлось восстанавливать заново. Отца уже давно не было в живых, и брат Александр решил дать свое отчество, что было гораздо проще, чем восстанавливать утраченные документы.
- ⁸ *Война с китайцами* — имеется в виду Боксерское (Ихэтуаньское) восстание в Китае в 1900–1901 гг., в подавлении которого принимали участие ряд стран, в том числе и Российская империя.
- ⁹ *Одонок* — небольшой круглый стожок сена
- ¹⁰ *Орипы* — (искаж.) репы.
- ¹¹ «*Русалим*» — (искаж.) Иерусалим.
- ¹² «*Жоржик*» — так в деревне презрительно называли городского франта, транжиру, которого считали возможным «почтить жизни» всякими способами, в том числе и прямым обманом.
- ¹³ *Гаманок* — (южно-русс.) кожаный кошелек для денег.
- ¹⁴ *Пиленьца* — (укр.) — паляница, представляет собой хлеб подовый круглой формы.
- ¹⁵ *Галманы* — (южнорусск.). В ряде мест Воронежской и Курской областей имело значение «лентяй, дармоед, увалень, лежебока». В начале XX века бранное прозвище «галман» означало сельский житель, т. е. мужик, олух, грубиян, невежа. В ряде мест Воронежской губернии слово «галманы» являлось прозвищем однодворцев, сословной части южнорусского населения, потомков военно-служилых людей низшего разряда. В данном случае так называют мальчишек, не желающих учиться и не особенно стремящихся взваливать на себя тяжелые крестьянские работы. К тому же яблоновцы в основной массе были потомками служилых людей.